

НАБРОСКИ, ЗАРИСОВКИ, ШТРИХИ

Ответ

Иду рано утром по скверу и озираю дозором свои "владения" – деревья, которых не видела с прошлой осени. Многих с горечью не досчитываюсь. Нет ивы, о которой я писала: "Ива-плакса опростоволосилась, все свои гребёнки растеряла". И ещё одного деревца из моего стиха: "Есть место у конца вон той аллеи, где дерево растёт наискосок". Их погубила буря. След их жизни остался лишь в моих строчках. Очень много деревьев повырубили этим летом. Всюду глаз утыкается в пни, уродливые отпилы, обрубки. Мне кажется, любое, самое старое, сухое, согнутое в дугу дерево всё же лучше, чем это. Старость в любом случае лучше смерти, да ещё такой: хирургически безжалостной, насильственной, похожей на казнь. Я любила разглядывать графический рисунок голых деревьев, угадывая в них какие-то метафоры чужих судеб, разгадывая ребусы и шифры их застывших жестов: вздетых к небу иссохших рук, вытянутых искривлённых пальцев, вылезших из земли корневищ. А теперь вместо древесных драм были плахи, где закончились их земные существования. Взгляду пусто, душе грустно, мёртво.

Я дошла до своего любимого места: недалеко от конца аллеи, упиравшейся в Торговый центр, было небольшое ответвление от основной дороги, ведущее вглубь сквера. Здесь в тени деревьев пряталась лавочка, где можно было посидеть не на виду у прохожих. Напротив этой скамьи возвышались три дерева, созерцание которых всякий раз наводило меня на философские размышления, а однажды даже – на такие стихотворные строчки:

А вот моя любимая скамейка.
Аллейки убегающая змейка.
Три дерева напротив, три осины.
И каждое по-своему красиво.

Одно – огромно, а второе – скромно,
с ещё не прорисованною кроной.
А третье – с чётким абрисом скелета,
застыв в витке смертельного балета.

Жизнь человека: юность, зрелость, старость.
Скажите, сколько мне ещё осталось?
Три дерева раскачивает ветер.
И каждое по-своему ответит.

Я присела на лавочку, привычно устремив взгляд напротив. Но вместо трёх древесных "богатырей" ему предстали лишь два: "молодость" и "зрелость".

Дерево-старость превратилось в плоский, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу, пень. Свежий спил бессмысленно косил на меня своим пустым глазом. И вдруг осенило: это же ответ! Ответ на вопрос, который я столько раз здесь себе задавала. Прообраза страшного будущего больше нет, призрак скелетообразной старости уже не маячит перед глазами. Только юность и зрелость, которые раскачивались в такт ветру, словно стремясь донести до меня сквозь лиственный шум свой утешительный шёпот, свои успокаивающие, просветлённые небом, шелестящие слова: "Смерти не будет, будет вечная музыка..." Вспомнился давний сон об отце, запечатлённый мной в стихе: "Так смерти нет?" – спросила я отца./ Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась." И вот теперь, вслед за отцом, эти два дерева говорили мне о том же.

Исчез с глаз монстр грядущего ("грядущее, попозже, не теперь!" – заклинала я его в стихах), грозное напоминание "memento mori", олицетворение мумии одинокой старости, вылезший из потаённых шкафов древесный портрет Дориана Грэя. С глаз долой – из сердца вон. И впервые я не пожалела о срубленном мёртвом дереве.



Невидимое миру

Утром после грозы в сквере – следы ночного сражения деревьев с дождём и ветром: обломанные сучья, рваная листва, сорванная с ветвей. Вернее, не сражения, а насилия над ними. Стоят, как в оборванных платьях, сломленные, жалкие, полуголые. Какая была здесь борьба ночью! А утром – солнышко как ни в чём не бывало. Где он, этот дождь-ветер, насильник? Его и след простыл. Вот так утром не видны на лицах следы ночных сражений, трагедий, пережитых во сне, – куда-то рвёшься, кого-то умоляешь, кричишь, рыдаешь. А утром – непроницаемое лицо, как будто всего этого и не было.



Приснилось: проходит мимо женщина, похожая на маму – лет 40-45-ти. Сзади вроде её причёска (перманент – тогда она делала, недолго), фигура. Но – оборачивается, смотрит на меня – и я вижу, что не она, хотя похожа. И она пристально вглядывается в меня и – тоже, не узнав, поняв, что это не я, отворачивается и идёт дальше, быстро. И я, в отчаянии от этого – что не она? что она всё-таки, но не узнала? не узнала? – протягиваю вслед руки и – буквально взвыла, как зверь. И проснулась.

Ловлю себя на мысли, что самым для меня страшным было бы – встретить их на том свете – маму, отца, и они меня не узнают, пройдут мимо. Это кошмар моих снов.

Птичьи права

Стоит мне выйти на балкон – слетаются воробьи, близко, чуть не на руки садятся. Однажды двое подлетело: младший разевал рот, а воробей покрупнее клевал крошки и совал ему в рот. Не боятся. Понимают, что это им не манна с неба, а чётко связывают эти крошки со мной.



Когда-то я писала:

Я хлеб крошу воробушкам –
то манна им от Бога.
Голодные утробушки
насытиться не могут.

Второй украл у первого,
а третий – у второго...
Судить их нашей мерою?
К ним жизнь и так сурова.

Полным-полна коробушка,
и хватит этих крошек
для каждого воробушка.
Люблю я этих крошек!

Однажды, выйдя из подъезда, обнаружила на земле выпавшего из гнезда воробьёнка. Он скакал по траве, неуклюже подпрыгивая, не умея взлететь. Я подняла, посадила на акацию. Воробей замер, вцепившись в ветку, боясь упасть в лапы кошке. Над ним кружилась воробья. Уборщица крикнула мне с лавочки: "Его мать учит летать!" Я ушла по своим делам, но беспокойство за судьбу птенца не оставляло, то и дело вспоминала: как он там? цел ли? Когда вернулась – его на акации уже не было. Но утром – вот чудо! – они прилетели ко мне на балкон: воробья с сыном. И не раз ещё прилетали потом, и мать при мне демонстративно кормила воробьёнка: крошками в рот.

Утром балкон наполнялся птичьими трелями: воробьи галдели, – качали права. Если я вдруг забывала вынести им вождельный корм, пернатые находили способ напомнить мне о моих обязанностях: стучали клювами в то окно, где я в тот момент находилась, – в кухне, где я готовила завтрак, или в комнате, где обычно пишу у окна. Они вертели головками, вглядываясь вглубь комнаты, топорщили пёрышки, стреляли в меня глазёнками-бусинками: "Ну что же ты, мол? Забыла про нас? Мы же тут, мы тоже есть хотим!" Попробуй не дай. Всё правильно. Мы в ответе за тех, кого приручили. "Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна". Это были первые строчки, прочитанные мной у Есенина ещё в детстве, и с тех пор я всегда смотрела на этих бесцеремонных зверёнышей взглядом есенинской умиленной нежности и жалости.



Потом на балкон стали прилетать голуби. Их было гораздо больше, чем могло поместиться на дощатом пяточке, они шумно теснили друг друга, крошки и зёрна разлетались в разные стороны, не доставаясь никому, а хрупкие воробушки только издали могли наблюдать за трапезой "старших", мысленно облизываясь. Я пыталась восстановить справедливость: прогоняла голубей ради более слабых и маленьких. Но они до того обнаглели, что не улетали даже тогда, когда я их чуть не вплотную касалась рукой, сталкивая с кормушки. Голуби не могли постичь логику моих действий: сама же сыплю корм и сама же – гоню? И резонно не слушались моих криков и взмахов. Пришлось взяться за палку. Вроде бы помогло. Но однажды прилетел голубь без ноги. Он суетливо и жадно ел, оставляя на снегу кровавые следы, и на него у меня не поднялась рука. Я махнула рукой на голубей, то есть теперь уже на их вторжение, признав птичьи права и за ними. Только следила, чтобы они не обижали и не оттесняли моего безноготого. А воробьям пришлось довольствоваться нижним ярусом: балконным полом. Они кучковались внизу, подъедая то, что отлетало от голубиных клювов, так называемые крохи с барского стола. Но другого выхода я не видела.

В итоге балкон был загажен моими пернатыми так, что страшно было взглянуть, не то что на него выйти. Весной пришлось делать генеральную уборку, плавно переходящую в ремонт. Я мысленно клялась больше не вынести сюда ни крошки, зная наперёд, что не выполню своих зарок.

А однажды летом Давид принёс с улицы чёрный комочек. Это был стрижептенец, выпавший из гнезда. Оставить его на земле значило обречь на смерть в лапах кошки. Я устроила стрижу гнёздышко на балконе, уложив в коробку, застеленную тряпками, задвинув её под лавку и занавесив сверху от солнца. Внешность птицы меня поразила: круглая крепкая голова с внимательно и

сурово изучающим меня круглым глазом, мощный размах крыльев, стремительный хвост, хищные цепкие когти. В нём не было ничего жалкого, сиротливого, суетливого, как в других кормившихся у меня птицах. Казалось, он совсем не боялся меня, от которой теперь зависела его судьба, не признавал за мной права сильного. Когда я брала его в руки, сердце птенчика не трепыхалось под кожей, а билось спокойно и мерно. Глаз смотрел серьёзно и почти презрительно. Мне становилось не по себе. Что-то дьявольское было в этой птичьей твари.



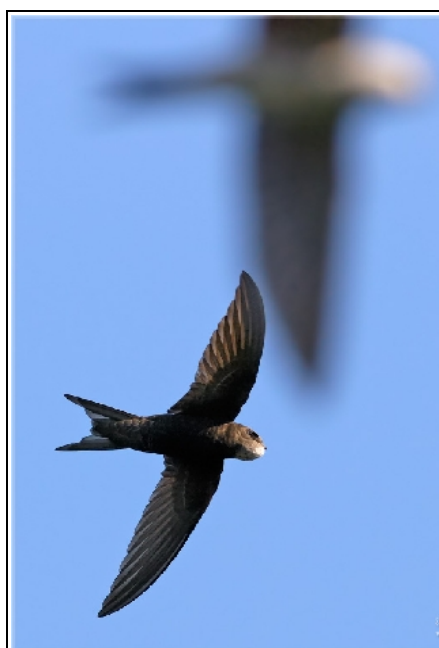
Еду, которую я ему подкладывала, стриж игнорировал. Воду, правда, пил. Потом от подруги, поступавшей на биологический, я узнала особенности содержания этой особи. Оказывается, кормить её было бесполезно: стрижи питались лишь личинками, обитавшими высоко в воздухе, нашей земной пищи не признавали. В июне-июле их особенно много выпадает из гнезд, так как родители перекармливают птенцов, они делаются слишком тяжёлыми и взлететь не могут. Они вообще никогда не могут взлететь с земли, только с высокой точки: с крыши или балкона. Но предварительно их надо подержать голодными дня три, чтобы они похудели и стали более лёгкими для взлёта.

Уяснив все эти премудрости, я взялась за дело спасения стрижа. К ночи он засыпал, принимая при этом вид трупа: видя его закатившиеся глаза и приоткрывшийся клюв, я каждый раз пугалась, но с первыми лучами солнца стриж оживал. Вообще птица была на редкость жизнестойкой. Я проникалась всё большим уважением к его независимости, бесстрашию и абсолютной уверенности в благополучном исходе своей судьбы. Казалось, он знал что-то такое, что мне неизвестно. Словно его вёл по жизни некий птичий ангел-хранитель, зорко наблюдая за ним с высоты, а я была лишь орудием этого провидения. И отношения наши с ним складывались не по принципу хозяина-спасителя и его подопечного, а напоминали что-то совсем противоположное,

где повелителем и владыкой был стриж, а я бестолково и подобострастно старалась угадать и выполнить его волю.



На третий день я обнаружила птенца на балконной двери, по которой он целеустремлённо карабкался куда-то вверх, альпинистски цепляясь за сетку мощными когтями. Я поняла, что он уже созрел для полёта. Давид встал под балконом – для страховки, чтобы поднять птенца, если он окажется ещё недостаточно лёгким, а я не без трепета взяла его в правую руку и – как учила подруга-биолог – с силой запустила ввысь. Стриж сначала резко пошёл на снижение, но перед самой землёй неожиданно взмыл и стал стремительно набирать высоту. Я провожала его взглядом, насколько хватало пространственного обзора. Потом прошлась по окрестным дворам с дозором: не упал ли где под кустом. Стрижа нигде, к счастью, не было. Он обрёл свой дом в небе.



С тех пор каждый год, сидя на балконе с книжкой, или наблюдая в окне стрижиные виражи, я пытаюсь угадать, какой из них мой. Порой они пролетают совсем рядом, и однажды мне показалось, что один из стрижей прочертил траекторию над моей головой, словно автограф оставил. Может быть, это и был мой приёмш?



Она летит, свободная от пут...
Привет, пичуга, как тебя зовут?
Дай пёрышко от твоего пера,
чтобы легко писалось мне с утра!

Летит, как пух, что от Эола уст,
и мир уже не беспросветно пуст.
Пернатая надежда в небесах
летит и мир качает на весах.

В стране, где все привыкли падать ниц,
жить обучаюсь по законам птиц.
И никогда – хоть плачу и бешусь –
от птичьих прав своих не откажусь!

Листья кружатся в медленном танце

Иду по осеннему скверу. Осторожно ступаю по шуршащему золоту листьев. С невольным сожалением замечаю, что его на аллее становится всё меньше — пожилые женщины в спецодежде сгребают всё это богатство в мешки и складывают под деревьями.

Мешки такие большие и пухлые, что действительно напоминают мне мешки с золотом — из каких-то старинных пиратских фильмов. Из глубин памяти всплывает: "Листья кружатся в медленном танце..." Первая строчка моего первого стихотворения. Мне шесть лет. Мы гуляем с отцом в осенних Липках. Или в каком-то другом сквере — уже не помню. Но помню, как отец ужасно обрадовался этой, возможно, случайно оброненной мной строчке. И всячески понукал меня к её продолжению. "Ну, а как же там дальше, ну, ну?" — теребил он меня. И я с азартом — хотя и не без труда — "родила" следующие: "Листья кружатся в медленном танце... падают тихо в забытом саду... И по аллее... осенью поздней..." Дальше никак не выходило. Но отец смотрел на меня с такой надеждой, с таким нетерпеливым ожиданием, что не оправдать их было нельзя. "Я прохожу по цветному ковру!" — выпалила я наконец. И испытала жуткий восторг от содеянного. Я впервые сотворила стих! Это было необыкновенное ощущение какого-то экстаза, эйфории. Я прыгала, кружилась, поднимала с земли разноцветные листья и осыпала себя ими, как золотом. Это было приобщение к чему-то новому, неведомому, прекрасному, которое пустило меня в свою волшебную дверцу, оказавшуюся за нарисованным очагом папы Карло. И отец радовался не меньше меня. Я уже не помню подробностей, мучительно пытаюсь вспомнить, как вспоминают сон. Так давно это было! Но то ощущение радости, своего могущества, сказочного преображения мира помню очень хорошо.



Прошло много лет. И однажды в каком-то толстом журнале я прочла ту свою первую строчку. Ею открывалась подборка Светланы Кековой: "Листья кружатся в медленном танце..." Мне стало смешно. Я потом стыдилась этих своих "незрелых" стихов, никогда их нигде не упоминала и не цитировала, мне они казались уже с высоты своего опыта детскими и несерьёзными, и вдруг — встретить одну из этих строк в стихах прославленной поэтессы чуть ли не мирового масштаба! Поневоле задумаешься: я ли была в те годы так "гениальна"? Или поэтесса мирового класса с годами "деградировала" до моего тогдашнего уровня?

Всё впереди

Линда роется в листьях, ища съестное. Никакой духовности. Микки носится по аллее как вихрь, барахтается в пожухлой траве, дрыгая всеми четырьмя лапами, так выражая свой восторг перед жизнью. Линде на природу наплевать, она деловито ищет жратву. — Наш народ до перестройки и после, — подумала я.

Сажусь на скамейку. Напротив большое, старое, полуголое дерево. Внизу — много пышной листвы, дальше она всё реже, мельче, и, наконец, апофеоз всего — голая верхушка, устремлённая в небо. Как это похоже на человеческую жизнь. Чем ближе к началу, к почве — много родных, друзей, жизненных ответвлений, чем дальше — редет жизнь, связи, впечатления, и — чем ближе к небу — "тем холоднее": устремлённость ввысь, когда уже ничего не остаётся на земле, одни голые сучья. "Одинокий полёт ястреба" — откуда нет возврата.

Вдруг в своей ладони я ощущаю листок дерева. Он сам влетел мне в раскрытую руку. Пригляделась: чашуйка акации. Я оглянулась. Акаций вокруг не было. Только дубы, берёзы, клёны. Я обошла всё вокруг, но ни одной акации не нашла. В сердце горячей волной толкнулась радость. Это мамочка, её подарок. Это она мне подаёт знак, привет. Сумасшествие. А как ещё объяснить??! Там не было акации!!! Но, может быть, я ошибаюсь, и это не она? С этой чашуйкой, зажатой в руке, я шла от самого Торгового центра. Дома для верности спросила Давида: "что это?" Он присмотрелся: "акация". Что и требовалось доказать. Вернее, это то, что ни в каких доказательствах не нуждалось.

Весь день думала об этом. Разум боролся с чувством и я была на стороне чувства. А ночью приснился сон. Я спешу к маме, боюсь опоздать. Опоздала! Какие-то страшные кости, скелеты. Я ищу в слепой надежде хоть что-то её, от неё, и вдруг вижу листок с её строчками — её рукой. Я жадно хватаю — вот сейчас я всё пойму, она мне что-то хочет сказать, объяснить... Но буквы упрямо сопротивляются, не дают себя читать — словно кто-то не даёт мне проникнуть в Тайну... И я чувствую, что я просыпаюсь, не хочу просыпаться — минуточку, я хочу прочесть, одно мгновение! Но словно чья-то рука за шиворот тащила меня из сна. Я изловчилась и прочла последние слова. Это было: "Всё впереди". Я проснулась с таким чувством, что будто успела ухватить, украсть что-то важное, чего не положено знать простым смертным. Что же это значит? Что у меня может быть ещё впереди? Что впереди, когда всё позади? И вдруг осенило: это НАДЕЖДА. Код надежды. Она дарила мне надежду на нашу встречу впереди, она дала через сон мне весть об этом. Как раньше — той чашуйкой акации. Всё впереди. Всё ещё впереди. Всё ещё будет. Как сладко верить. Спасибо, мамочка. Или Бог? Ангел-хранитель? Но что бы ни было причиной этой горячей теплоты в груди — великая Благодарность ему за это.

Люди, птицы, звери...

Была когда-то такая песенка: "Я люблю бродить одна... Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".



Я тоже люблю бродить одна, но всё вижу, всё слышу — впитываю в себя окружающий мир. Вот идёт в коротких шортах голенастая девица в очках, упоённо говоря с кем-то по мобильнику. Я невольно позавидовала, как вольно и независимо она шла, уверенно, бескомплексно, как легко и комфортно ей — судя по всему — в этом мире. Нет ещё ни утрат, ни потерь... Всё впереди. А вот алкашка спит на лавке, спокойно улыбаясь чему-то во сне. Чему она может улыбаться? Вот и ей неплохо. Трое молодых людей — два парня и девушка — чокаются бутылками с пивом. Этим совсем хорошо. Чуть дальше — пара на скамейке: она, обхватив его коленями, делает ритмичные движения, у обоих тупые оловянные глаза. Целуются не спеша, лениво — даже не эпатажно, напоказ, а — безразлично, технически как-то. Как же омерзительна эта их любовь и свобода.

Меня тоже замечают. Мужчины подходят обычно попросить денег — на трамвай, на операцию, "мы погорельцы", "ограбили" и пр. Лицо, что ли, у меня такое? У остановки Жиркомбината на земле сидит мужчина без ног, почти молодой, с гордым и презрительным выражением лица. Даже язык не повернётся сказать, что он просит милостыню. Он её молчаливо требует, и даже

не требует, а снисходительно позволяет давать, не достаивая взглядом дающего. Всегда невольно поёживаюсь, проходя мимо. Как он ухитряется сохранять высокомерие в его положении? Кем он был в своей прошлой жизни? Что с ним случилось? Очень хочется задать ему эти вопросы, но я, конечно, не задаю. Да он бы и не ответил.

Часто подходят пожилые женщины — обычно они ходят попарно — и предлагают буклеты о жизни в раю, о скором бессмертии и т.д. Я беру из вежливости, потом оставляю где-нибудь на скамейке: пусть тешатся те, кого это греет. А вот ещё один любопытный экземпляр: бомж с мобильником. Как символ нашей эпохи.

Вот в таком примерно сквере гулял Борис Рыжий. Скверы, арки, ангелы, кенты — весь его мир. "Сквер будет назван именем моим". Скверы редко носят чьи-то имена. Они ничьи. Но его именем — я уверена — будет когда-нибудь назван.

К выборам зажгли фонарь у нашего подъезда, который много лет не горел. Хоть какая-то радость от этих выборов, хоть шерсти клок. Фонарь освещает окно на кухне. Вяз в его свете кажется серебряным, сказочным. Я тушу свет на кухне, стою у окна и люблюсь. Вяз качает веткой, постукивает в стекло. Мы общаемся. Подумалось: человек никогда не будет одинок, пока есть воспоминания и деревья — соглядатаи, душеприказчики, друзья.



Деревья и птицы. Каждое утро крошу хлеб воробьям. Белый они любят больше. А от чёрного — как сказала мне недавно одна знакомая — "у них может быть диатез". Пока, правда, признаков диатеза у них не замечала.

Воробьи — суетливые задиры. Каждый норовит отнять крошку у другого, хотя рядом лежит такая же. Нет, отнять, оттолкнуть, клюнуть! Пока двое дерутся, крошку умыкает кто-то третий. Совсем другое дело — вороны. Однажды я бросила вороне кусочек мяса, — долго искала бездомного пса, но так и не встретила, и решила скормить вороне. Меня поразило, что пока она ела — её товарки почтительно стояли поодаль и внимательно смотрели — не как она ест, а на мои руки, не кину ли чего и им. Сначала я подумала, что это какой-то вожак стаи, глава их племени, но потом убедилась, что такое же корректное уважительное отношение у них к любой вороне. Ни зависти, ни попытки отъёма — что сплошь и рядом мы наблюдаем у голубей и воробьёв, я даже зауважала эту птичью породу. Об их уме я знала и раньше (однажды видела, как ворона, не сумев разгрызть чёрствый бублик, положила его на трамвайные рельсы и подождала, пока его раскрошит трамвай), но об их "хорошем воспитании" узнала впервые.



До чего же все они разные — птицы, животные, со своими привычками, особенностями, не только присущими данной особи, но и конкретно каждому живому существу. Недавно у меня под балконом поселилась бездомная кошка. Она была очень странной. Сидела на виду, никогда ни от кого не пряталась. Казалось, страх, обычная кошачья осторожность ей неведомы. Утром, когда бы я ни проснулась — в шесть или в пять, выглянув с балкона, я всегда встречала её устремлённый на меня снизу молитвенный взор. Я была для неё Богом. Как я могла обмануть эту мольбу, эти ожидания? Кидала ей мясо. Она трогала его сначала лапой, туда-сюда, играла, как с мышью.



И ещё одна кошка запала мне в душу. Её где-то нашёл и пригрел наш дворник — одинокий придурковатый мужик. Кошка эта стала его ребёнком, его семьёй. Целыми днями он держал её на коленях, ласкал, миловал, чесал брюшко, гладил и напоминал мне Герасима с Муму в их первый счастливый период. Увы, финал, как и у Тургенева, оказался трагичным. Однажды ночью я проснулась от дикого, какого-то утробного воя и визга. Выскочила на балкон, — там рвали кого-то бойцовские собаки, явно хозяйские, — наши бездомные псы, я их всех знала наперечёт, на такое были неспособны. Но было темно, ничего не разобрать. Через минуту всё кончилось, вой затих. Я стояла на балконе, пока не рассвело. Скоро смутные очертания детской площадки прояснились, и я увидела немую картину: под деревом сидел, как изваяние, напуганный Микки, чуть поодаль лежала притихшая серая кошка, та самая, моя, которую я мысленно называла "шизофреничкой". А посередине площадки неподвижно белело что-то пушистое, но неживое. Это была кошка дворника. Разнеженная его ласками, расслабленная самозабвенной человеческой любовью, она не сумела вовремя сориентироваться, заметив опасность, как другие её собратья, и поплатилась за свою доверчивую беспечность.

Вскоре из подъезда вышел дворник. Подошёл к растерзанному трупiku. Поддел его лопатой, отнёс за железные трубы и там стоял над ним довольно долго. Я спустилась во двор. Дворник уже сидел на скамье. Я подошла к нему и сказала: "Хорошая была кошка", как о человеке на поминках. Но он, казалось, не слышал и смотрел в одну точку.

Обхожу дозором свои "владения". Вот кленёночек подрос, почти дотянулся до своей "матки" (каждый раз, увидев его, вспоминаю есенинское

"кленёночек маленький матке зелёное вымя сосёт"). Вот клумбу разбили, украсили новым узором. Зелёная ёлочка усыпана жёлтыми листьями — оригинально. Как красивы деревья — все, без исключения, даже совсем голые, высохшие, причудливо изогнутые — в них есть какая-то дремучая прелесть и тайна.



Почему люди не все так безоговорочно красивы? Когда-то Чехов мечтал о том, что через 200 лет "люди будут любоваться друг другом, и каждый будет как звезда перед другим". Но этого не произошло. А может быть, и они красивы в своём первоначальном замысле Бога, но время неизменно изменило их — как чудовище в сказке. И не нашлось того или той, кто поцелуем расколдовал бы медведя или лягушку и превратил бы его (её) в прекрасного принца (принцессу).

Вот идёт не старая ещё тётка в зимнем добротном пальто с меховым воротником (+15 градусов). На ногах на толстые белые шерстяные носки напялены чёрные мужские кроссовки, на голове — цветастый платок, а сверху нахлобучена вязаная шапка. В одной руке — лаковая старомодная сумка-ридикюль, в другой — целлофановый пакет с чем-то. Бомжиха? Но всё чистое, не старое. Может быть, на ней что-то краденое, дарёное, чужое? Сумасшедшая? Гадаю.

Как трудно, однако, жалеть вот таких. Легко — кошек, собак. А люди часто вызывают брезгливость и раздражение. Почему самая грязная ободранная

собака не вызывает таких чувств, а только сострадание? Бездомный пёс под лоджией соседнего дома прожил всю зиму. У него был свой ангел-хранитель: женщина, которая самоотверженно боролась за него с соседской старухой и её сыновьями-фашистами. И победила. Пёс был уютно устроен: ему было постелено тёплое пальто, стены устилали картонки, чтоб не дуло, рядом стояли миски с водой и едой, пакетики со снедью. Пёс лежал, положив голову на лапы, и с интересом — хотя и с грустью в глазах — рассматривал прохожих. Я каждый раз умилялась, проходя мимо. А однажды, под такой же лоджией, правда уже другого дома, обнаружила чуть ли не в той же позе — бомжиху.



Было ещё довольно светло. Уже довольно прохладно — конец сентября. Она лежала, устроенная гораздо хуже собаки: на грязной газете, чуть прикрытая своей же курткой, растянувшись у всех на виду, ничуть не смущаясь прохожих. Совсем молодая. И, что поразительно, не пьяная. Трезвый, жёсткий, чуть вызывающий взгляд, которым она посмотрела на меня в упор. Подойти? О, нет, — содрогнулась я. Что же должно произойти с человеком, чтобы такое стало — возможно, легко и просто? Как атрофируется всё человеческое? А вскоре я стала свидетелем ещё большего человеческого падения.

Недалеко от нашего дома возле колонки — деревянный домишко под № 66. Однажды, проходя мимо, я услышала за забором шум и грохот. Калитка была то ли приоткрыта, то ли сломана, и в щель я увидела, как мужик бил женщину, бил наотмашь по лицу кулаком, прицельно, по-боксёрски. Она слетела по лестнице и лежала вниз головой, а он, рывком подняв, снова с силой ударил по скуле, потом по другой. Голова у неё болталась вправо — влево. Я, не помня себя, бросилась к калитке и закричала в эту щель: "Прекратите немедленно! Я вызываю ОМОН!" Почему именно ОМОН, а не милицию? Сама не знаю, так выкрикнулось, может быть потому что так "грознее". Но он продолжал её мутузить ещё довольно долго: пока я нашла прохожего с мобильником (у меня тогда не было), пока он вызвал патруль, пока те приехали... Вышли они оттуда довольно быстро. Видно, что это здесь уже не

впервой. Вышла избитая, — заплаканная, вся в крови, с расквашенным носом. По-детски всхлипывая, стала жаловаться нам (у калитки уже собралась кучка людей) на головную боль, держалась за затылок. Из сеней вышел сын-подросток, оказывается, он всё это время был в доме, но ничем не обнаруживал своего присутствия. Привычным жестом швырнул матери тряпку: "На, утрись". С каким-то небрежным и даже брезгливым видом. И это было, кажется, ужаснее всего. Вот эта заурядность, будничность события для всех героев разыгравшейся драмы. Они не осознавали ужаса происходящего. Повяло чем-то из Горького, Достоевского, Короленко... Чем-то дремучим и диким. Меня буквально била дрожь, я не могла полночи заснуть. А спустя несколько дней иду — эта жуткая пара, как ни в чём ни бывало, вытряхивает ковёр. А может быть, для них это лучше — не осознавать? Иначе ведь с ума сойти можно, если задуматься.

Глоток шампанского

Этот сон я увидела в ночь с 9 на 10 апреля 2009-го года. Снилось какое-то торжество, стол, много гостей. Я суечусь и ищу маму — знаю, она где-то здесь, что-то говорила мне только что и вот, как это часто бывает в моих снах — куда-то исчезает, затушёвывается, вроде бы рядом где-то, но никак не могу её ощутить до конца. И вдруг вижу: сидит у стола, незаметная среди гостей, ей словно неловко, она старается быть незаметной, что-то мешает ей быть той, какой она была всегда. Я подбегаю, обнимаю: "Мамочка, что же ты молчишь, придвигайся к столу", — что-то ей накладываю на тарелку, но она словно ёжится, не отвечает. Я беру её руки — они холодные-холодные, и догадка пронзает — отчего, но я гоню эту догадку, не хочу её знать. Начинаю растирать ей ручки, но они не согреваются. А она покорно так сидит, безмолвно и беспомощно, и словно ждёт чего-то. И вдруг меня осеняет: "Давай я тебе шампанского налью? Глоточек?!" Замерла и жду, словно от её ответа зависит вся моя жизнь. И у мамы вдруг озорно блеснула улыбка: "А можно?" И я просто задохнулась от радости и восторга от этого "а можно?" В этом лукавом озорстве был и дерзкий вызов смерти — через все нельзя! и возвращение к себе прежней — какой я её знала, и её характер, и её вечная сумасшедшая любовь к шампанскому — как к символу праздничной, красивой жизни, которой у неё никогда не было — это была любовь к мечте, недостижимой жизни, уже просто жизни — любой. Как она — через смерть, через толщу лет, через толщу моих слёзных ночей пробилась ко мне этой — такой своей! — фразой. Я проснулась со слезами радости и восторга перед ней — моей дорогой, родной героинюшкой.

Я как недоенная корова с полным выменем — меня распирает любовь, которую я не могу им дать. Только могилам. И тянет на кладбище. Только подхожу — такая нежность к сердцу подступает, такое горячее тепло. И я

чувствую, что они видят меня. Мне тепло и защищённо. И я ничего не могу в себе с этим поделать. И не хочу.



Из книги "Ангелы Ада" (2004)

Зависть богов

В прошлой своей книге в одном из эссе («Когда человек умирает...») я рассказала о недавно умерших жильцах нашего подъезда, поделюсь размышлениями по поводу их смерти. В течение последнего полугода умерли еще два наших соседа: с 5-го и 6-го этажа, оставив вдовами двух одиноких женщин. Сосед с 5 этажа – дядя Володя, как звали его дети, – был совсем не старым, по-моему, ему не было и 60-ти. К нам он заходил лишь однажды – когда их стиральная машина вышла из строя и невольно залила несколько квартир, в том числе и нашу. Обычно такие инциденты заканчивались неприятными разборками, в которых виновная сторона всеми правдами-неправдами стремилась свалить вину на пострадавшего или на какие-нибудь внешние причины. Сосед повел себя нестандартно. Окинув взглядом залитые потолок и стены, он коротко сказал: «Ну что ж, будем делать ремонт», тут же по-деловому прикинув, что и как будет делать. Мы с Давидом остолбенели от

такой неожиданной порядочности. До ремонта, конечно, дело не дошло – нам было не до него в то лето, но сосед был сразу прощен и отмечен нашей симпатией. И жена его мне нравилась.

Мы познакомились, когда нас вдвоем с ней пригласили в понятия к другому соседу. Изредка встречаясь потом с ней на улице и перебрасываясь случайными словами, я отмечала про себя, как она ухожена, модно, со вкусом одета, мила собой. Она производила впечатление любимой и счастливой женщины, окруженной заботой и незнакомой с прозой жизни, а оба они – стабильной благополучной пары. И вдруг – как это обычно бывает – звуки траурного марша, доносящиеся в форточку, гвоздики, разбросанные по ступенькам...

– Кого хоронят? – спросила я пробежавшую мимо Олесюку.

– Дядю Володю.

– Что с ним случилось?

– Сердце...

Я вспомнила, что в последнее время часто видела его у подъезда, где он сосредоточенно курил с напряженным и отрешенным выражением лица. Как непрочное оказалось счастье этих двоих, такое на первый взгляд устойчивое, крепкое, надежное, даже через стены, казалось, излучавшее эманации тепла и уюта.

А буквально через два-три месяца – новая смерть. Эту пару я часто встречала вместе. Ему было где-то за 70, она – лет на десять моложе. Их нельзя было не заметить: они ходили только вдвоем, неразлучно, часто держась за руки, как дети. Возможно, потому, что он плохо видел, и она была его «глазами», но об этом совершенно не думалось, глядя, как они оживленно разговаривают друг с другом – именно разговаривают, а не обмениваются репликами, как обычно супруги со стажем, как весело смеются чему-то. От них за версту веяло счастьем. Было такое впечатление, что они только что поженились, хотя жили в этой квартире уже давно. Женщина и сейчас была хороша – высокая, статная, с горделивой осанкой, с блестящими молодо глазами, которыми она светло поглядывала на прохожих, словно приглашая полюбоваться их чудесным союзом. С нами она здоровалась всегда так приветливо и задушевно, словно мы давно знакомы, меня это слегка смущало. (Может, с кем-то путает?) Потом я увидела, что она здоровается так почти со всеми. Встречать эту пару всегда было приятно и радостно, но в то же время что-то во мне тревожно екало при виде их открытого, почти вызывающего счастья. Я тогда сама не понимала толком, почему, не находила этой тревоге внятного объяснения. Потом, когда увидела ее в черном платке, идущую за гробом, поняла. Недавно по ТВ шел фильм Меньшова «Зависть богов», главная мысль которого была в том, что нельзя быть слишком свободными и счастливыми, нельзя так безоглядно и ярко любить, это вызывает зависть и месть богов, желание отнять это счастье, вернуть с небес на землю. Конечно, все это мистика и вздор, но... почему провидению понадобилось выхватить из

жизни именно этих людей, разлучив две счастливые неразлучные пары, которые были редкостью не только в нашем подъезде и дворе, но и вообще – большой редкостью в этом мире?

Однажды на рассвете – спустя несколько дней после похорон – я услышала рыдание, такое горькое, безутешное, отчаянное, слышное через все стенки дома, что душу захлестнуло волной жалости. Сомнений быть не могло – это рыдала она. Так же открыто и неудержимо, как когда-то смеялась.

Я вспомнила, как Давид не принял поначалу мой рассказ «Образ счастья», в котором я вспоминала, как мы были счастливы в первые годы нашей жизни, вызывая в памяти призраки прежних дней, то лучшее в них, что будет потом вспоминаться на том свете, станет образом земного счастья. Я не могла тогда понять, что его задело и огорчило в моем рассказе. «А у меня такие минуты – каждый день», – сказал он мне с легким укором. Захлестнуло счастьем и стыдом. Я любила наше прошлое, самое первое, лелеяла юность нашей любви, а для него все это было в настоящем. Я не умею жить настоящим. Рвусь в завтра, потом вспоминаю вчера... А счастье – вот оно, бери, ешь его, пей, наслаждайся, вдыхай полной грудью. Но что-то изнутри остерегает, сдерживает, словно боится спугнуть, сплзнить. Навлечь зависть богов. «С Новым годом, сердце! Я люблю вас тайно, вечера глухие, улицы немые...»



Я так глубоко и надежно счастлива с тобой, что это, как аксиома, не требует доказательств, не нуждается в демонстрации, чурается слов. Будем любить втихомолку, за плотными шторами, за крепкими ставнями, за сомкнутыми веками. Зачем дразнить гусей, быков и богов?



Дар или удар?

Звонит вечнопьяный Авилов, просит написать предисловие к его книге. Говорю, что вряд ли это прибавит к нему любви Союза писателей (особенно в свете моей последней книжки «По горячим следам»). Тот не читал, но что-то такое слышал, какие-то раскаты грома до него доносились. По принципу «не читал, но скажу», укоряет:

– В Вашей поэзии есть грубость.

Поправляю:

– Не грубость, а резкость. А это, я бы сказала, немаловажное качество, как для фотографа, так и для писателя.

– Женщина должна источать доброту! – наставительно изрекает Авилов.

Не могу сказать, чтобы эти реплики как-то меня задели, но вызвали тем не менее желание возразить – не только по телефону, но и на бумаге – всем возможным оппонентам, думающим так же. Что значит быть добрым, «источать доброту»? Смотря к кому. И к чему. Для меня это очень избирательно. Быть добрым к плохим людям, их делам и поступкам – значит быть недобрым к другим, к тем, против кого они направлены. Быть добрым ко всем – это равнодушие. То самое, «с чьего молчаливого согласия творятся на земле предательства и убийства». Нельзя любить всех. Даже Волошин, который к этому стремился, «молясь за тех и других», дал однажды Гумилеву пощечину и стрелял в него на дуэли. Правда, в воздух, но все же.

Помню, как меня впервые резанула строка Бродского: «Я не люблю людей». А потом порой в жизни такое мурло встретишь (не столько в прямом,

сколько в переносном смысле), что тысячу раз подумаешь: прав Бродский. Быть добрым «ко всем людям без изъятия», как призывал Молчалин, любить всех – это лицемерие, фарисейство. Всех – это значит никого. Квинтэссенцию своей мысли я выразила в таком четверостишии:

Любимым – любви моей мед, нектар.
А недругам – не обессудьте.
Я вся по сути – ответный удар.
Но вся я – как дар, по сути.

Сиделки

У меня возникла необходимость нанять сиделку по уходу за больной мамой. Нанимала их по объявлениям в газете, по предварительным телефонным переговорам, во время которых напрягала все свои психологические познания и интуитивные способности, чтобы составить представление о человеке, которого впусти к себе в дом. Но вся равно ошибалась. Вот несколько связанных с ними курьезных историй.

Сиделка Света. Молодая, ловкая, быстрая, она споро управлялась со всеми гигиеническими проблемами и поначалу очень мне понравилась. Но вскоре я заметила, что продукты, которые доставляю маме на неделю, очень быстро тают. Лимон заканчивался за два-три дня, причем маме в чай клался один и тот же кусок, сахар не успевала подсыпать в сахарницу, сгущенка исчезала мгновенно. Приходя в неурочное время, я не досчитывалась то нескольких кусков рыбы, то котлет. Света часто радушно предлагала маме испечь то пирожки, то оладьи, но, как выяснилось, ей от них доставался мизер, остальное сиделка тащила к себе домой. Пришлось с ней расстаться.

Сиделка Тамара. Очень старательная, она окружила маму заботой и вниманием, от которых та буквально таяла. Но сиделка на беду оказалась обладательницей новейших медицинских познаний, во всяком случае, таковой себя подавала. Она заявила маме, что вылечит ее от всех многочисленных хворей, и стала предъявлять мне длинные списки необходимых для этого лекарств и мазей. Я исправно все покупала, но хвори не убавлялись, а от лечения становилось только хуже. Обнадеженная мама, видя тщету всех усилий сиделки, разочарованно мне жаловалась: «Она не та, за кого себя выдает!» Доверие к «знахарке» было утрачено. Оскорбленная непризнанием ее способностей, Тамара уволилась.

Сиделка Валя. Оказалось, что она живет по соседству, к тому же не работает, и вместо условленных двух часов в день она проводила с мамой времени гораздо больше. Меня это поначалу радовало, потом стало смущать, так как платить больше той суммы, о которой договаривались, я не могла. Когда же я пришла в конце недели и увидела, что в квартире все блестит, белье, которое я обычно забираю для стирки, сияет белизной, к тому же сварен обед, о

чем не было уговора, и даже какие-то накрахмаленные скатерочки принесены из дома, то пришла в ужас, поняв, что никогда за это не расплачусь. Но мама была так довольна уходом, и сохранить Валю, а вместе с ней и весь этот шик-блеск было так соблазнительно, что я задумалась насчет прибавки к ее зарплате. Оставив на столе оговариваемую прежде сумму, я по дороге домой соображала, где выкроить для нее еще сотню-другую. В конце месяца должны продаться мои книги в магазине... В августе маме прибавят пенсию... Но не успела я прийти домой, как мои размышления прервал телефонный звонок разъяренной Валентины.

– Где же ваша благодарность?! – патетически воскликнула она в трубку.

Я опешила.

– Я вам очень благодарна, но...

– Я за спасибо работать не намерена! Вы же видели, сколько всего сделано!

– Я видела, но я же не знала, что все это увижу, у меня с собой была лишь та сумма, которую я Вам обещала.

– Но вы должны были сказать матери, что принесете еще сотню! Я же... – (она перечислила весь спектр оказанных ею сверхплановых услуг).

– Да, но мы же не договаривались об этом. Я же Вас о них не просила. Да и нет у меня сейчас таких денег. Может быть, в следующем месяце...

– Ах, так?! Тогда ноги моей здесь больше не будет!

– Подождите, нельзя же так сразу, доработайте хотя бы эту неделю, пока я найду другую сиделку! (Она резала меня без ножа). Я принесу Вам завтра эту сотню.

– Нет! Ни одного дня тут не останусь! Дело не в деньгах!

– А в чем же? – удивилась я.

– В принципе! Я не прощаю обмана!

– Да какого же обмана? Я принесла Вам сумму, о которой мы с вами договаривались.

– Мало ли что. Когда это было!

– Ну доработайте хотя бы этот день...

– Ни минуты!

И, бросив маму недомытой и недокормленной, вымогательница ушла, хлопнув дверью. Я потом долго не могла забрать у нее свой ключ.

Сиделка Люба. Эта сиделка подозрительно легко согласилась на минимальную сумму оплаты (обычно я начинала с нее, и, если были не согласны, то добавляла). Ее не смутило даже то, что жила она в 40 минутах ходьбы от маминого дома, а приходиться надо было к восьми утра.

– Это ничего, я встаю рано. У меня у самой такая мама была... Она всхлипнула. Люба была очень скорой на слезу, плакала по малейшему поводу. Маму она обхаживала с сентиментальной нежностью, сюсюкая с ней, как с младенцем, терпеливо потакая всем ее капризам и тоже делала многое из того, о чем я ее не просила. Я, наученная горьким опытом, боясь «данайцев, дары

приносящих», несколько раз предупредила ее, что больше, чем обещала, платить не смогу. Любе это было, казалось, без разницы. Но вскоре я обнаружила, что в доме пропал весь спирт, которым надо было обтирать маму. Ужасная догадка подтвердилась: Люба внезапно ушла в запой. Накануне она забыла у нас выключить газ, и только вовремя пришедшая медсестра смогла предотвратить катастрофу. В довершение пьяница Люба потеряла ключ от нашей двери. После увольнения она еще долго звонила и просила занять ей деньги.

Сиделка Наташа. Деловая, собранная, обязательная, она мне очень понравилась. Приходила точно, как часы. Регулярно отзванивала, по-военному четко «рапортуя» о сделанном. Кажется, с ней я наконец могла вздохнуть спокойно. Но маме пришлось не по нраву ее жесткий, несколько суровый стиль общения. Она пресекала ее капризы, заставляла делать то, что, по ее мнению, было полезно и рационально. Мама взбунтовалась, потребовав ее заменить. «Это какая-то ээсовка!» – заявила она мне. Я была вынуждена, скрепя сердце, подчиниться.

Сиделка Татьяна. Эта сиделка была «государственной», назначенной от Центра милосердия. Им там велено было вести специальные тетрадки, куда записывались отчеты о работе каждого дня. Как-то заглянув из любопытства в эту тетрадь, я с удивлением прочитала: «Подняла, усадила. Заварила чай. (В доме никогда не было заварки, мама пила только чистый кипяток). Сделала бутерброд. (Зачем так подробно? Написала бы просто: покормила. Но надо же было создать впечатление многоэтапной деятельности.) Последняя фраза повергла меня в ступор: «Провела беседу с больной о политическом положении в современном мире». Я показала маме запись. Она аж задохнулась от возмущения: «Какая ложь!»

– Она с тобой беседовала?

– С мужиком своим по телефону 15 минут беседовала.

– А еще?

– Еще одной подопечной звонила: «Вам чего принести? Обойдетесь? Ну ладно.»

– А с тобой?

– Со мной нет. Да о чем мне с ней беседовать? Я сама с ней такую беседу могу провести!

Я полистала тетрадь назад. Все записи кончались словом «Беседа». Лучше бы посуду помыла.

Сиделка Юля. Эта не проработала и дня. Когда я ее увидела – обомлела. Под два метра вышиной, ослепительная голливудская красавица, вся в чем-то супермодном. 19 лет. Я бы не удивилась, если бы ее избрали мисс мира.

– Боже мой, Юля, – вырвалось у меня, – неужели Вы будете заниматься всем этим – возиться с судном, грязными простынями? Это трудная, черная работа, особенно для такой девушки. Вам бы где-нибудь на подиуме блистать.

Юля шумно протестовала.

– Я все умею, все могу. Я на социального работника училась...

Но я была настроена скептически. В это время пришел Давид. Увидев «мисс вселенную», замер на пороге. Юля, стреляя подведенными миндалевидными глазами, загибала пальчики на ладони: «Могу уколы делать, давление мерить, банки ставить. Я за прабабушкой ухаживала!» Давид хохотнул, шепнув мне на ухо: «Пусть она лучше за мной ухаживает!» Это было последней каплей. Юля была решительно отвергнута.

Сиделки сменялись, как перчатки, а нужной все никак не находилось. Я дала объявление в газету. Посыпались звонки.

Берта Игнатьевна. С ходу стала интересоваться характером заболевания мамы и предлагать средства от всех болезней, рекламируя их на все лады. Мне стало ясно, что она просто менеджер какой-то фирмы. Под видом сиделки она хотела проникнуть в дом, чтобы пропагандировать там свою «панацею». Я ее быстро раскусила и отвадила.

Нина Васильевна. Старушка оказалась немногим младше моей мамы. Жила довольно далеко. Но трудности ее не пугали. Она пенсионерка, ей нужны деньги.

– Но ведь Вам 72 года. Меня смущает Ваш возраст. Все-таки тяжело...

Нину Васильевну не смущало ничего. «Я еще крепкая». Она ежедневно обливалась холодной водой, бегала и даже купалась в проруби. И еще ходила в какой-то чудодейственный кружок здоровья.

– Вы знаете, я ни во что не верю, только в это. Вам еще не поздно закаляться. Вы ежедневно должны обливаться холодной водой.

– Да причем здесь я? Мне сейчас не до себя. Мне маме нужна сиделка.

Но потенциальная сиделка была слишком непоседливой для этой работы. Чувствовалось, что она и на маме готова была испробовать чудеса закаливания. Чего доброго, и водой обливаться заставит. Это при ее-то артрите! Я решила не рисковать ее здоровьем.

Татьяна Борисовна. Простая словоохотливая женщина, работает уборщицей в магазине. Вернее, работала, теперь уже нет. Долго и путано объясняла мне суть производственного конфликта, потом перешла к конфликтам семейным. За 10 минут рассказала мне всю свою жизнь и жизнь своих родственников и соседей. Кто-то там кого-то пырнул ножом, кто-то за что-то попал в тюрьму... У меня голова пошла кругом. Что-то ее бандитское окружение не внушало мне доверия. В качестве сиделки мне ее брать не хотелось. А вдруг эти убийцы достанут ее в моем доме? Но ей очень хотелось у меня работать, так как очень нужны были деньги. «Только на Вас вся надежда», – заявила она мне, страшая тем, что квартиросъемщик ее убьет, если она не внесет куда-то какой-то взнос. Не зная, как ей помочь, я предложила:

– Законсервируете мне штук 20 банок за 200 рублей?

Обычно все соглашались. Но Татьяну Борисовну просьба повергла в смущение.

– Но это... Это...

Я подумала, что ее не устраивает цена. Но женщину смущало другое.

– Но это... можно, конечно. Но ведь это надо, чтобы не отравить...

Я потеряла дар речи. Трубка сама собой нажалась на рычаг.

Еще одна Нина Васильевна. Суматошная, заполошная женщина.

– Я буфетчица (то ли посудомойка) в оперном театре. Меня тут все знают. Ко мне все за билетами приходят. Но зарплата маленькая, всего 300 рублей. Я могу быть у вас и час, и два, сколько захотите...

Об оплате даже не спросила. Я вспомнила по аналогии пьяницу Любу и на всякий случай закинула удочку:

– Вы знаете, предыдущая наша сиделка оказалась пьющей. Вы извините, что я Вас об этом спрашиваю, я вовсе не хочу вас обидеть подозрением, но у Вас такой веселый голос... (Смехом я пыталась сгладить неловкость, готовясь перевести все в шутку. Но оказалось, что попала в точку).

– А что здесь такого? – обиделась буфетчица. – Ну выпили мы сегодня с приятельницей бутылочку красненького на двоих. Сегодня, между прочим, день торгового работника! – с вызовом заявила она.

– С чем я Вас и поздравляю.

Ольга Львовна. Деловая, четкая старушка. Как оказалось, совершенная сумасшедшая.

– Я звоню по поводу работы. В центре? Прекрасно. Я сама живу в центре. Почему бы и не посидеть с больным человеком?

– Но здесь надо вовсе не сидеть. (Перечисляю все, что нужно делать.)

– Ну что ж. Милая моя! Нашли чем испугать. Да мы войну прошли, и не такие трудности вынесли. (Следует длинный обстоятельный рассказ, который прервать невозможно. При этом она почему-то упорно говорит о себе «мы». Выясняется, что работу она ищет не для себя.)

– Я звоню от имени подруги. Это она мне Ваш телефон дала из газеты. Мне-то это не надо, меня сын кормит.

– Почему же подруга сама не позвонила?

– У нее телефона нет. Я за нее. Когда можно с Вами встретиться? Мы придем вместе.

– Но я хотела бы сначала с ней самой поговорить.

– Вот и скажите адрес, куда прийти. Мы Вас не съедим. Мы люди честные, ничего у Вас не возьмем. Если у вас ковер какой – мы его не тронем.

– Спасибо. Но пусть позвонит все-таки сама подруга, если она хочет работать.

Звонок на другой день. Слегка обескураженный голос Ольги Львовны. Оказывается, подруга не очень-то и хочет. Но упорная старушка не хочет отступить и требует личной встречи.

– Но зачем? – отбиваюсь я.

– Вам же нужна сиделка? Я хочу Вам помочь... Где Вы живете? У меня там полгорода знакомых. Да я и сама в конце концов... Я еще живая. Что Вы меня хороните! – воскликнула она возмущенно.

– Я?! Помилуйте...

– Давайте встретимся! Чего Вы боитесь? Мы люди честные. Говорите время и место. Вы посмотрите на меня, я на Вас. Я буду в бордовой кофточке... (Она с увлечением описывает свой наряд и макияж).

Я тихонько опустила трубку. Еще звонок. Молодой, бодрый, жизнерадостный голос:

– Я по объявлению. Я уже не помню, кто-то вам там требуется... Работа на один час в день? О, да это подарок судьбы! В центре? Мечта, а не работа! «Прекрасно, замечательно», – звучало на все мои условия.

– Так Вы согласны? – обрадовалась я.

– Не, не согласна, – засмеялась трубка. Юмористка.

Эпопея с телефонными звонками длилась до поздней ночи. Казалось, еще немного – и мне самой уже понадобится сиделка.

Псевдонимы

Не люблю даже само это слово, в котором так явственно слышится «псевдо» и «мнимо», то есть нечто противоположное подлинному, настоящему. (Помните, чиновника Пселдонимова из «Скверного анекдота»? У Достоевского не бывает случайных фамилий). Берут псевдонимы обычно по следующим причинам: из желания называться более благозвучно, из трусости, для «конспирации», чтобы избежать возможной расплаты за написанное или когда текст таков, что его стыдно подписать своим именем. Нередко все эти причины совпадают. Впрочем, не всегда. Ахматова, например, очень чутко реагировала на неблагозвучную фамилию. Говорила: «Роберт Рождественский – невозможное сочетание. Писатель должен иметь ухо, на то и существуют псевдонимы!» Рождественский ее не послушал, и от этого ничуть не пострадал. Читатель быстро привыкает к любой фамилии, были бы стихи хорошие. Кто сейчас ассоциирует Пушкина с пушкой или пушком? И в голову никому не придет. У А. Кушнера есть замечательное стихотворение на эту тему:

С какой-нибудь самой нелепой
Фамилией новый поэт
Приходит, уж лучше б Мазепой
Он звался, чем Блок или Фет,
Но стерпится – слюбится... Музе
Не хочется баловать нас.
Она в своем праве и вкусе
Земной не расслышать заказ.

Б. Слуцкий советовал поэту Григорию Глузману: «У Вас хорошие стихи, но если Вы хотите стать поэтом, надо взять псевдоним. Место русского поэта с еврейской фамилией уже занято А. Кушнером». Кушнер, кстати, вспоминал, что

и ему Слуцкий при первом знакомстве рекомендовал взять псевдоним: «Иначе Вы всю жизнь будете играть без ферзя». «Слава Богу, я не послушался, – пишет Кушнер, – в русской поэзии немало неблагозвучных имен, фамилия Слуцкий тоже не радуется чуткий слух негодяя».

Многие поэты с еврейскими фамилиями брали русский псевдоним из страха перед такими «негодьями», не дававшими ходу подобным авторам. Так, Татьяна Галушко, например, раньше носила фамилию Баунер. Неизвестно, как сложилась бы поэтическая судьба Фета, если бы он не скрывал свои еврейские корни. Во всяком случае, поклонников бы у него явно поубавилось. А Ахматова? Была бы она так же любима поколениями, если бы в ее имени не звучало этого величественного «ах!», как бы вместившего в себя все будущие восторженные читательские «ахи»? Скромное непрезентабельное «Горенко» вряд ли бы способствовало ее славе.

А если бы, скажем, Павел Шаров был бы не Шаров, а Шариков? При всем уважении к его стихам, думаю, что добиться серьезного отношения читательской публики ему было бы намного сложнее.

И все же – честь и хвала всем поэтам, которые не боятся зваться своими именами, какими бы смешными и некрасивыми на слух они ни были, своими творениями заставляя нас услышать в них совсем иные созвучия.

А все эти Ядвиги Залесские, Таволгины, Саши Аи, Ромулы Л'Ээли, графы Этеры де Паньи своей нестерпимой пошлой красотой имен не способны прикрыть ничтожества того, что они пишут. «Что позолочено – сотрется. Свиная кожа остается».

Р. С. Должна признаться, что носителей двух последних псевдонимов я стгоряча приплюсовала «до кучи», их произведений я не читала. Написала, а потом засомневалась: а вдруг у них как раз хорошие стихи? Решила удостовериться, и, если стихи не соответствуют псевдониму – эти имена из текста вычеркнуть.

Как-то по телефону с Л. Чирковой зашел разговор об упомянутом Ромуле Л'Ээле. (Черт его знает, как это пишется). Спрашиваю Любу, есть ли у него книга. Оказывается, книги нет, ни одной.

– А как у него вообще стихи? Ты читала?

– Никогда не читала. По-моему, у него нет стихов.

– Так он что, прозу пишет?

– И прозы не пишет.

Я была озадачена.

– Что же он в таком случае подписывает своим грандиозным псевдонимом?

– А ничего не подписывает. Он так с ним ходит. Представляется им просто.

Я после этого разговора хохотала, наверное, с полчаса. А потом подумала: нет, что-то во всем этом есть. Псевдоним ради псевдонима. Почему бы и нет? Существует же понятие «искусство для искусства». Довершал комизм ситуации

тот факт, что Ромул Л'Эль работал грузчиком на Жиркомбинате, и сочетание изысканного псевдонима с грубой сермяжной правдой профессии придавало харизме ничего-не-пишущего поэта особую пикантность.

Вспомнилось к слову, как Чехов шутил по поводу декадентов: «Какие это декаденты, это молодцы из арестантских рот! И не верьте, что у них ноги бледные: ноги у них нормальные и волосатые».

Спасибо за чувственность

Меня пригласили в 41 школу на встречу со старшеклассниками. Предупредили, что хотят провести её «в форме диалога». Я подумала, что это обычная форма вопросов-ответов, но оказалось, что под диалогом подразумевалось обоюдное чтение стихов. Я им – свои, они мне – мои же, но выбранные по собственному вкусу. Учителя в этом выборе не принимали никакого участия. Было любопытно слушать свои строки в ребячьем исполнении, их интерпретацию, понимание смысла того или иного стиха. Вот что запомнилось.

Девочка читает:

Страны и дома добровольный пленник,
Гляжу в окно на сцену бытия,
На тот спектакль, что без копейки денег
Дает сегодня улица моя.

Говорит, что когда его прочла, подошла к окну и стала смотреть из него во двор уже не просто так, как раньше, а «совсем другими глазами».

– Я увидела, что все люди, прохожие – это действительно «народные артисты», и вся жизнь – как театр, мне стало так интересно наблюдать эту жизнь из окна.

Другая выбрала стихотворение:

Свидетели были у нашей разлуки:
Луна и ее поднебесные слуги,
Ночной переулок, безлюден и мглист,
И с дерева рвавшийся в прошлое лист.
Ничто не запомнило мертвое место.
Теперь тут другие жених и невеста.
И вывески те же, и тот же фонарь,
Но нету там нас – не ищи и не шарь.

Любопытствует: «А что Вы конкретно имели в виду, когда писали это стихотворение? С каким событием Вашей жизни оно связано?»

Только дети могут задавать такие «лобовые» вопросы. Такой, например:

«А Вам когда-нибудь хотелось полетать верхом на Пегасе?»

Особенно активна была одна девочка, я даже запомнила ее необычное имя: Эсмирь. Она сидела на 1 ряду и не сводила с меня глаз. Прочла уйму моих стихов, делилась мыслями по поводу прочитанного, постоянно тянула руку. Видя такой живой интерес, я спросила, не пишет ли она сама. Ответ меня умилил:

– Я пробовала писать стихи, – сказала Эсмирь. – Но я... как-то стесняюсь их писать. Я лучше люблю читать их.

Мне подумалось, что из этой девочки скорее может получиться поэт, чем из признанных школьных виршеплетов, привычно срывающих аплодисменты на классных утренниках и районных смотрах.

В конце вечера дети преподнесли мне огромную, как пальма, розу со словами, которые меня растрогали и рассмешили: «Спасибо Вам за Вашу чувственность и доброту!»

Косолапов

Обычно мне на лекциях дарят цветы, конфеты, шоколадки. Николай Васильевич Косолапов принёс целый мешок яблок – мы его еле донесли. Собственно, эти яблоки он вёз к себе с дачи, но по пути заглянул в библиотеку, заинтересовался темой вечера, остался и... в результате яблоки были преподнесены мне. С тех пор Николай Васильевич не пропустил ни одного вечера, причём перед каждым из них он мне вручает письменный отзыв о предыдущих. Вот один из них (как реакция на клеветнические статьи Куракина и Мартыновой): "Известность и популярность Наталии Кравченко кому-то не даёт покоя. Кого-то её творчество сильно раздражает. Кто-то швыряет грязью из-за угла. Я заявляю свой протест против хамских наездов на культурно-просветительскую деятельность Наталии Кравченко..." Купил все мои книжки, но прочёл пока только "Собачью жизнь": "Я думал, я только один такой ненормальный..." На день Святого Валентина подарил мне три шоколадки: "Сегодня такой день, что я Вас имею право поздравить". – "Вы меня имеете право поздравить в любой день".

На последнем – творческом – вечере подарков и цветов было столько, что унести все мы смогли, лишь утрамбовав в гитарный чехол. Косолапов ждал нас на улице целый час под проливным дождём. "Я подумал, может быть, помочь донести что-нибудь надо..." Проводил нас до остановки.

– Как поспеют яблоки – позвоню!

Из книги "Признаки (призраки) жизни" (2007)

Преданность и предательство

«Преданность» и «предательство» – а корень один. От одного до другого – один шаг (как от любви до ненависти). Может быть, это закономерность?

Например, в природе: как предана трава солнцу, листва – ветру, какое доверие друг другу, какая гармония в их слаженной музыке. Но приходит осень и – трава предана, оставлена солнцем, деревья преданы ветром, который ломает, обрывает то, что ещё недавно ласкал. Быть целиком преданным кому-то – не значит ли это в чём-то предавать себя, свою душу, своё высшее предназначение, то есть то, что не принадлежит никому – «только Богу одному»? «Как мы вероломны, то есть как сами себе верны», – писала Марина Цветаева. Иными словами, чтобы быть верным себе, себе нынешнему, в чём-то новому, надо неизбежно предать того, кто в прошлом, если ты из этой общности уже выросла, её переросла. «Остался в прошлом я одной ногою» (Есенин). Но второй от неё не оторваться, – «скольжу и падаю другою». Ибо, предавая другого во имя себя будущего – разве не предаёшь при этом и себя нынешнего, разменивая то, что должно оставаться неизменным и вечным?

Перефразируя Бродского: «Из предавших меня можно составить город».

Есть очевидцы!

Читаю со сцены своё стихотворение:

Нет очевидцев той меня,
и, значит, не было на свете
в ночи сгоревшего огня,
что плачет, уходя навеки.

И, значит, не было в миру
той девочки босой, румяной,
гонявшей обруч по двору,
рыдавшей над письмом Татьяны...

Ни старой печки, ни плетня,
ни сказочной дремучей чащи,
раз нет свидетелей меня
тогдашней, прежней, настоящей...

И вдруг подбегает ко мне в конце вечера женщина – я её не сразу узнала – с которой в детстве жили в одном дворе и с которой не виделись лет тридцать:

– А мне всё хотелось тебе сказать: «Есть очевидцы, есть!»

Это выражение принято в юриспруденции: нет очевидцев, свидетелей преступления – значит, не доказано, значит, его как бы и не было. И точно так же если нет свидетелей твоего детства, если никто не помнит тебя маленькой – вроде бы и не было всего этого. Ведь никто, кроме тебя, этого не помнит, подтвердить не может. И вдруг находится такой очевидец и свидетельствует: было! Документально подтверждено жизнью. Ведь мы живы, пока отражаемся в чужих глазах, в чужой памяти.

Образ тоски

Есть одно место, которое я для себя называю «образом тоски». Оно выглядит так: если пройти по проспекту 50-лет Октября от нашего дома в сторону Воскресенского кладбища (минут 5-10) и упереться в автостоянку – непременно вечером, при свете фонарей, то это выглядит как некий метафизический тупик: пустынная автостоянка, рядом зияет чёрными провалами окон недостроенный дом, чуть поодаль – остов другого, только что начатого (и такое впечатление, что брошенного) строиться дома, между ними – несколько убогих домишек, как из стихов Блока о России («мне избы серые твои...») или что-то из Есенина – «нездоровое, хилое, низкое...». Два-три сухих одиноких, каких-то отрешённых тополя, а вдали – далёкий, мерцающий тусклыми огнями город (за низкими домишками его далеко видно). Слабый рассеянный свет фонаря. Тёмные пятна грязного снега (или луж). Вот так выглядит материализовавшаяся тоска, – почему-то думаю я всегда на этом месте. Здесь так всегда тоскливо-тоскливо, до жути. Это даже Линда чувствует – не любит сюда доходить, останавливается, не доходя, и переминается нетерпеливо, поглядывая на меня, – когда, мол, идти обратно.

Привидения в музеях

В «Новостях культуры» по саратовскому ТВ ввели новую рубрику: «Ночные прогулки по музеям», где ежедневно директора музеев (Федина, Радищева и других) с самым серьёзным научным видом рассказывают о привидениях, которые бродят тут по ночам, оставшиеся от прошлых веков. (Одна девушка там некогда повесилась, и теперь её тень витает по коридорам, в другом подвале некогда содержался Емельян Пугачёв... Страшно – аж жуть!)

Ткачёва, многозначительно понижая голос, без тени иронии: «Охрана нам рассказывала, что здесь слышны по ночам шаги... вдруг что-то ни с того ни с сего падает...». Причём эти «сюжеты» – образцы мракобесия – повторяют по четыре-пять раз. Ну ладно бы в день смеха 1 апреля, ну ладно бы под рубрикой «Чего не бывает» или «Святочный рассказ» – а то под эгидой новостей культуры!

Исключение из правил

Амусина исключили из Союза писателей. Исключили за правду. За тот редкий исключительный случай, когда он её сказал. Вернее, написал, в газете «Земское обозрение», в статье о М.Муллине (непьющем), где мимоходом прошёлся по СП, куда принимают «за стакан водки». Союз оскорбился (правда, как известно, глаза колет) и, посоветовавшись, исключил Амусина «за неэтичное поведение» или что-то в этом роде.

Амусин написал об этом в газете. Он стал героем дня. Ему посвящал телепередачу Колобродов. «Исключили за фразу о стакане водки!» – гремело в средствах массовой информации. «За стакан водки и восстановится», – равнодушно заметил кто-то из журналистов.

Но Амусин не стал восстанавливаться. Он «взял нотой выше»: создал другой Союз, новый, свой собственный. Путём каких-то сложных манипуляций в Москве с нужными людьми организовал пресловутый АСП, переманив туда многих пишущих обещанием напечатать. Союз писателей №1 старательно делал вид, что не обращает внимания на карьерные успехи своего изгнанного члена. «Чем бы дитя ни тешилось», – отмахивался Масян. Когда же осознал опасность «конкурирующей фирмы» – было поздно: новоиспечённый глава СП №2 переманил к себе пол-Союза, прибрал к рукам «Волгу-21 век» и напечатал всех своих друзей, подруг и знакомых (естественно, за бюджетные деньги). Недаром в народе говорят: «Нахальство – второе счастье».

Стенд поэтов

Поэтесса Элана, продавая свой сборник стихов в «Доме книги», вывесила в рекламных целях свою фотографию. Зрячкин, в отчаянье, что не купили ни одной его книжки, вывесил рядом и свою. Стенд стал напоминать милицейский: «Их разыскивает милиция». Читатели, до сего времени проходившие мимо, стали останавливаться чаще.

Великодержавное мороженое

Хотела купить дешёвое мороженое (было с собой мало денег). Долго искала на прилавке и выбрала самое скромное и захудаленькое за 6 рублей. Потом прочла название на бумажной обертке: «Русский размах». Удивилась несоответствию такого громкого названия жалкому содержимому. Что это, юмор такой русофобский или инерция великодержавного мышления? Расчёт на то, что патриоты купят и такое из-за одного названия? Поистине «умом Россию не понять».